



## С. Н. КРИВЕНКО

### Михаил Салтыков-Щедрин. Его жизнь и литературная деятельность

<Фрагменты>

#### *4. Салтыков — редактор «Отечественных записок»*

<...> Хотя Салтыков создал себе почетное имя в литературе еще со времени «Губернских очерков», хотя он был известен также и как один из видных сотрудников «Современника», но все главное, что сделало его Салтыковым-Щедриным, каким войдет он в историю русской литературы к ее вящей славе, относится ко второму периоду его литературной деятельности. В эти годы им были написаны: окончание «Помпадуров и помпадурш», окончание «Признаков времени», затем «Письма из провинции», «История одного города», «Господа ташкентцы», «Дневник провинциала в Петербурге», «Благонамеренные речи», «Господа Головлевы», «Недоконченные беседы», «В среде умеренности и аккуратности», «Культурные люди», «Итоги», «Современная идиллия», «Убежище Монрепо», «Круглый год», «За рубежом», «Сказки», «Письма к тетеньке», «Пошехонские рассказы», «Пестрые письма», «Мелочи жизни», «Пошехонская старина» и несколько очерков и статей, вошедших в «Сборник» (т. VI) и совсем не вошедших в отдельные издания. Появилось все это главным образом на страницах «Отечественных записок». После смерти Некрасова (1877) Салтыков был утвержден ответственным редактором журнала и стоял во главе его до самого его запрещения (в апреле 1884 года), а затем должен был появляться в чужих изданиях: в «Русских ведомостях», в «Неделе» и главным образом в «Вестнике Европы». Произведения свои, писавшиеся в виде отдельных очерков, но связанные между собою общей идеей, а иногда и одними и теми же действующими лицами, он издавал в виде отдельных сборников под общим заглавием. Большинство их выдержало по несколько изданий, а предпринятый им незадолго перед смертью выпуск полного собрания сочинений в девяти больших

томах разошелся тиражом шесть с половиной тысяч экземпляров прежде, нежели завершился год после его кончины.

Мы пишем биографический очерк, а потому критическая оценка произведений Салтыкова не входит в нашу задачу. Да это и потребовало бы от нас гораздо больше места, чем мы располагаем, а потому посмотрим лучше, как он работал, как относился к литературе и, в частности, к журналу, с которым так тесно был связан.

В арендованных у Краевского «Отечественных записках» сначала главная роль принадлежала Некрасову: он ведался как с самим Краевским, так и с типографией, с цензурой, с конторой и вообще со всею «внешнею» стороною издания, читая в то же время некоторые рукописи и в качестве ответственного редактора — корректуры всего журнала. «Внутреннее» свое значение он делил и с виду даже как-то подчинял Салтыкову и Елисееву, которые также читали редакторскую корректуру всего журнала и заведовали: первый, вместе с Некрасовым — беллетристкой, а второй — так называемыми серьезными статьями и вторым отделом, за исключением переводных романов. Краевский в литературные дела совсем не вмешивался и никогда в редакцию не ходил, так что многие из сотрудников и в глаза никогда его не видели. После смерти Некрасова ответственным редактором сделался Салтыков. Сначала он по обыкновению опасался новой роли и принял ее неохотно, после неоднократных убеждений Елисеева. Ему казалось, что и не утвердят его, что и нареканий будет много на журнал и что, главное, подписка упадет. Когда же число подписчиков превысило десять с половиной тысяч, чего при Некрасове не было, то я живо помню, как он был этим удивлен и насколько этот успех был для него действительно неожиданностью.

Сколько самых неусыпных трудов, тревог и забот доставляли ему «Отечественные записки», — об этом хорошо знают все сотрудники. Он читал рукописи по беллетристике, правил их и готовил к печати, просматривал корректуры всех отделов журнала, вел переписку с некоторыми из иногородних сотрудников, сам писал статьи (иногда по две в месяц, т. е. статью и маленький фельетон), имел объяснения с цензурой и т. д., словом, он весь был в журнале, всего себя в него вкладывал и жил в нем душою. Работал он очень много, так много, как может работать только очень привычный и сильный работник. Трудно даже понять, как это согласовывалось и уживалось со слабостью его физических сил и давно уже начавшимися разными болезнями и недомоганиями; а объяснить себе это можно разве только одним: необыкновенной его любовью к литературе и той тесной связью, какая существовала между нею и личной

его жизнью. Весь досуг, все передышки между приступами болезни и ночные бессонницы, все печали и радости, мечты и помыслы — все отдавалось литературе. Жить для него — значило писать или что-нибудь делать для литературы. Как Некрасов говорит старику рассыльному, у которого болят ноги от ходьбы: «Жить тебе, пока ты на ходу», — так можно было бы сказать и Салтыкову относительно литературы. Литература была для него тем же, чем земля для известного мифического героя, получавшего силу от земли, или сказочная живая вода для изрубленных в куски богатырей, которые, будучи ею окроплены, опять оживали, становились еще более сильными и отправлялись на новые подвиги.

Сказать, что он просто читал и готовил к печати рукописи, — значит мало сказать, потому что надо знать, как это делалось: в противоположность Некрасову и Елисееву он сильно марал и исправлял рукописи, так что некоторые из них поступали в типографию все перемаранными, а иные страницы и совсем вновь бывали переписаны на полях его рукою. Что это была за «египетская работа», не всякий знает и не может представить себе, не зная близко журнального дела. Кроме главной проблемы — чтобы не испортить вещи и не столкнуться с авторским самолюбием, тут много еще чисто технических затруднений: при соединении оставшихся частей, при изменении оставшегося текста, согласно выпущенным или измененным местам (чтобы не вышло несообразностей и противоречий), при соблюдении архитектуры целого и отдельных глав, при вписывании вставок и т. д., и т. д. Н. К. Михайловский рассказывает, например, о такой операции, произведенной Салтыковым над повестью Котелянского «Чиншевики»<sup>1</sup>: он вытравил целиком на всем протяжении повести одно из действующих лиц со всеми его довольно сложными отношениями с другими, оставшимися действующими лицами. И Котелянский потом был благодарен Салтыкову за эту операцию, так как она улучшила повесть, и только удивлялся, как он ухитрился это сделать, как хватило у него на это терпения и внимательности.

Но тут, кроме труда и внимания, требовалось еще много чисто художественного такта, умения и тщательности в работе. Насколько успешно все это достигалось Салтыковым, лучше всего, мне кажется, можно видеть из того, что большинство авторов, более или менее постоянно появлявшихся в «Отечественных записках», подобно Котелянскому, оставались довольны исправлениями и не только не вступали с ним в какие бы то ни было пререкания, но именно понимали, что произведения их выигрывали от его опытной руки. Случались, конечно, иногда и обиды, когда авторами были слишком

самоуверенные люди, требовавшие, чтобы ни одного слова у них не было выпущено и изменено, или когда Салтыков, увлеченный работой и художественной правдой, делал в произведениях слишком крутые «перевороты». Об одной из таких обид вспоминает, например, г-н Скабичевский: одна сентиментальная романистка непременно желала окончить свой роман смертью героини от чахотки, а Салтыков нашел, что той будет гораздо лучше выйти замуж за героя, и потому взял и повенчал их. Но таких случаев было очень мало; едва ли даже это не единственный случай. Зато гораздо чаще приходилось слышать то (о чем также припоминает г-н Скабичевский), что люди, не знавшие о тех операциях, какие производил Салтыков над произведениями второстепенных беллетристов, приходили нередко в удивление, отчего это те самые писатели, которые под редакцией Салтыкова помещают весьма недурные рассказы и повести, в другие издания приносят вещи ниже всякой критики и даже совсем неудобные для печатания. А с другой стороны, сделано также и такое наблюдение, что писатели, печатавшиеся прежде в «Отечественных записках» и бывшие вполне приличными, значительно изменились к худшему в смысле литературной выдержанности направления и порядочности, после того как стали писать в других изданиях, т. е. после того, как вышли из-под влияния известной литературной атмосферы.

Но в то время как Салтыков исправлял второстепенных и начинающих беллетристов, он совсем не трогал произведений больших талантов и тех сложившихся уже писателей, которые постоянно писали в «Отечественных записках». В этих произведениях он ничего не изменял, хотя среди них и попадались вещи слабые или поспешно написанные, которыми он оставался недоволен и за которые роптал на авторов. И не исправлял он таких произведений вовсе не потому, что не мог, — он мог и поправлять их, и совсем не принимать, — а потому, что считал себя нравственно не вправе вмешиваться и как бы учить людей уже сложившихся, которые сами за себя ответственны. Если бы дело касалось «направления» и основная мысль произведения слишком противоречила репутации журнала, то это другое дело: тут он не замедлил бы снести с автором относительно необходимых изменений или возвратил бы рукопись, а собственно литературную сторону дела, т. е. исполнение, приемы, слог и прочее, своим делом не считал. Невмешательство это простиралось иногда даже дальше литературной части, — до мысли, с которой Салтыков не был согласен, лишь бы только она не шла вразрез с общим направлением и при условии, чтобы статья была подписана автором, т. е. чтобы отвечал за нее он сам и ее не принимали за редакционную.

Не касалась рука Салтыкова также всех статей второго отдела, которым заведовал не он, а ближайшие его сотрудники, а равным образом и не беллетристических статей первого отдела. Здесь он опять строго соблюдал невмешательство в то, что принадлежало другим. Во втором отделе ему принадлежали только переводные романы, печатавшиеся в приложении, а остальное все читалось, выбиралось, отдавалось в типографию и исправлялось не им. Он только прочитывал редакторскую корректуру и смотрел, чтобы не было «нецензурных» мест, да и то, если таковые встречались в статьях постоянных сотрудников, не вымарывал их без их ведома и согласия. Он обыкновенно только отмечал и указывал им сомнительные места, а иногда и то, что ему почему-либо не нравилось или казалось неудобным. Равным образом и ему указывали те из сотрудников, кому посылались корректуры всего журнала, то, что им казалось сомнительным и неподходящим в его отделе и в его статьях. И каких бы то ни было обид и недоразумений при этом никогда не возникало. Он не только умел избегать ненужного вмешательства, но и доверять людям, и не только доверять, но и уступать. Это — редкие черты его характера, которые говорят не только об уме, но и о его искреннем сердце.

Как ничего не изменял он в статьях постоянных сотрудников не потому, что не мог изменять, так и исправлял он столь усиленно начинающих и второстепенных беллетристов вовсе не потому, что мог делать с ними что хотел, а потому, что это было лучше в разных смыслах, лучше как для журнала, так и для них самих. Вместо недовольства, которого можно было бы ожидать, если бы мотивы были иные, он привлек к журналу и сгруппировал вокруг него целую группу беллетристов, благодаря чему, без всякого преувеличения можно сказать, ни в одном из русских журналов ни прежде, ни после не было такой богатой беллетристики, как в «Отечественных записках». Иногда ее, эту прозу, упрекали в «избытке мужика», но, тем не менее, все постоянно читали, не исключая и тех светских людей, которые делали подобные упреки. И создано это было главным образом Салтыковым, потому что остальные либо никакого касательства к беллетристике не имели, либо помогали ему только советом да предварительным просмотром рукописей, когда их скоплялось слишком много в редакционном портфеле. Я сказал бы даже больше, что создано это было исключительно Салтыковым, если бы раньше него не обращал особого внимания на беллетристику Некрасов и если бы не помогал Елисеев, который хотя и не имел непосредственного касательства к беллетристике, но отлично понимал

важное ее значение для пубрики и журнала и, кроме того, постоянно сглаживал неровности и шероховатости его характера по отношению к пишущей братии, особенно к начинающим писателям, не знавшим еще салтыковского прямодушия и манеры говорить. Тем не менее, если начало дела принадлежало Некрасову, а поддержка Елисееву, то дальнейшее его развитие и непосредственные старания принадлежат Салтыкову. Он больше всех вложил труда и забот в беллетристику «Отечественных записок».

Повторяю, работать так, как работал Салтыков, не всякий может. Работа для него превратилась не только в обычное занятие, но и в какую-то непреодолимую потребность. Он не мог не писать: ни какие-нибудь дела, ни усталость и желание отдохнуть, ни знакомства и отношения, ни даже сама болезнь не могли удержать его от этого. Сплошь и рядом совсем больной, он садился к письменному столу и писал своим медленным, сжатым почерком страничку, другую, сколько мог. Я застал его раз пишущим на подоконнике, во время переезда на дачу, когда в кабинете все было уже уложено, и стол был чем-то загроможден; а за границей он ухитрялся иногда писать даже на маленьком круглом столике, урывая несколько минут между прогулкой и завтраком или между ванной и обедом, у него одна работа кончалась, другая начиналась, а иногда две-три работы шли рядом; случалось, что ранее начатые работы иногда откладывались на несколько лет, а более поздние печатались безостановочно, и тогда, по окончании их, он снова брался за какую-нибудь оставленную работу. Зависело это от разных причин: и от большей своевременности и необходимости позднее начатых работ, и от того, что они им сильнее овладевали, так что оставить их было не так-то легко. Иногда он жаловался на то, что работа затягивается и надоела ему, а расстаться с нею все-таки не мог. Так, например, жаловался он на «Пошехонскую старину», которую кончал уже совсем больной, незадолго перед смертью, а между тем задумывал новое большое произведение и даже сделал к нему наброски. Вот что говорил он мне:

— Начал я «Пошехонскую старину» действительно с удовольствием, а потом надоела она мне ужасно, просто измучила... Образы за образами поднимаются и лезут в голову, а возиться с ними и скучно, потому что все это уже давно известно, и тяжело, потому что я ведь опять точно переживаю то время. А тут еще болен... Право, иногда кажется, что не кончу. Впрочем, нисколько об этом не жалею: у меня на всякий случай окончание есть, всего-то в одну страничку. Если сам не успею написать, так пусть другой кто-нибудь напишет и скажет, что автор предполагал кончить свою историю зимним помещичьим

весельем, пошехонским раздольем. А вот о чем жалею, — продолжал он после небольшой паузы, — для этого стоило бы начать снова жить: я задумал новую большую вещь — «Забытые слова».

И он рассказал программу этой новой интересной работы. Салтыков вообще очень любил говорить о том, что предполагал писать, и развивать планы задумываемых им работ, причем вспоминал разных лиц, разные обстоятельства и случаи, о которых должна была идти речь, любил также читать свои рукописи. Насколько публично читал он нехорошо, настолько же с удовольствием можно было слушать его в кабинете. Читал он просто, без всякой манеры, без ударений, без интонации и вообще без всякой искусственности, но увлечение предметом невольно передавалось и вам. Не знаю, были ли у Салтыкова вещи, написанные сразу. Вероятно, были, но те, которые он мне читал, были в нескольких вариантах или, лучше сказать, редакциях, т. е., были написаны раз, потом поправлены, изменены и переписаны. Помню, одно из «Писем к тетеньке» было в двух редакциях, а сказка о киселе — в трех. Над этою крошечною сказкою Салтыков долго сидел и говорил о ней с не меньшим увлечением, чем и о самоотверженном зайце и бедном волке, которых тоже читал, только уже не в рукописях, а в корректуре. С какою скромностью он выслушивал замечания и принимал или отвергал их! В этом отношении он представлял совершенную противоположность другим писателям, которые ни единою строчкою из написанного не поступятся. Относительно своих статей он всегда испытывал робость, что у него плохо вышло, и всегда, бывало, спрашивает:

— Скажите, пожалуйста, а мою статью вы просмотрели? Ничего у меня вышло? Кажется, плохо?

На замечания он никогда не обижался. Хотя и редко приходилось их делать, но приходилось; а по тому вниманию, с каким он выслушивал обыкновенно высказываемые мнения, лучше всего можно было видеть, до какой степени он дорожил тем, что писал, и интересовался всяким искренним отзывом других о написанном. Эта строгость к себе и привычка спрашивать остались у него до самой смерти.

Салтыков вполне искренно не доверял своему огромному таланту и думал, что он только трудом и может брать. Он вообще скептически относился к всемогуществу таланта, особенно если талантливые люди были слишком проникнуты самоуверенностью и думали выезжать на одном только таланте, без труда и знаний. Признавая их талантливость, он, однако же, довольно часто иронизировал над ними, когда представлялся какой-нибудь повод, говоря: «Это — гениальные натуры, которых простые смертные даже понять не могут».

Я тоже не понимаю, потому что я — не гениальный писатель, — и с гордостью добавлял: — Зато я — работник». Если он работал для журнала из месяца в месяц, если он не любил, чтобы произведения его залеживались, то это не мешало ему тщательно обдумывать их, по несколько раз переписывать и переделывать рукописи. Работник он действительно был замечательный. Вот что сам он говорит в одном наброске, найденном в его бумагах:

«Я никогда не мог похвалиться ни хорошим здоровьем, ни физической силой, но с 1875 года не проходило почти ни одного дня, в который я мог бы сказать, что чувствую себя изрядно. Постоянные болезненные припадки и мучительная восприимчивость, с которою я всегда относился к современности, положили начало тому злему недугу, с которым я сойду в могилу. Не могу также пройти молчалием и непрерывного труда: могу сказать смело, что до последних минут вся моя жизнь прошла в труде, и только когда мне становилось уже очень тяжело, я бросал перо и впадал в мучительное забытие».

Смотря на Салтыкова, нельзя было не удивляться, как ему не мешают работать посетители. Ни приемных и неприятных дней, ни особых приемных и неприятных часов, как у других, у него не было. Положим, что к нему не во всякое время ходили; но утром, часов с 11 и до обеда, его все и всегда могли застать и шли к нему совершенно свободно. Случалось иногда заходить к нему и вечером, и опять никто не говорил, что он не принимает или что его дома нет, и опять приходилось кого-нибудь встречать у него. Правда, что он не со всеми и не всегда бывал любезен; но надо же войти в положение человека, которому мешают писать, которому несколько раз приходится отрываться от рукописи и заниматься разговорами, может быть совсем из другой области, чем та, о которой он думал, а сплошь и рядом и совсем для него не интересными.

Одни деловые разговоры по журналу, продолжавшиеся обыкновенно недолго, и те могли докучать и в общей сложности отнимали немало времени. Каждый знает, бывало, когда он занят, и думает ограничиться несколькими словами и несколькими минутами, а проговорит полчаса, час; а тут, смотришь, и еще кто-нибудь пришел. Однажды я зашел к нему таким образом «на минутку» и застал его очень сконфуженным:

— Представьте, какая штука со мною сейчас вышла, — сказал он, здороваясь, — просто опомниться не могу, так стыдно... Ждал я вчера к себе Боткина<sup>2</sup>: третьего дня письмо ему написал и просил посмотреть меня; а он вчера не приехал. Сегодня же, как нарочно, с самого утра гости, то один, то другой; то по целым месяцам глаз не кажут,

а тут вдруг все соскучились!.. Мне же, право, нездоровится, и я совсем сегодня был не расположен к визитным разговорам, а думал писать. Наконец, все посидели, поговорили и распрощались; только было я к столу, как вдруг опять кто-то приходит. Вижу, Ратынский<sup>3</sup>... так мне стало досадно, что я отвернулся к окну. «Здравствуйте», — говорит. Я подал руку, поздоровался. «Как, — говорит, — ваше здоровье?» — Да ничего, как видите. «Погода, — говорит, — нынче хорошая». — Ну, и слава Богу, — говорю, — с чем вас и поздравляю. «Гуляли ли?» — Нет, не гулял. — Еще что-то спросил, я так же коротко ответил. Сидим и молчим. Я тут вот и в окно смотрю, а он на вашем месте. И прошло так, должно быть, с полчаса. Наконец, по всей вероятности, это ему наскучило, и он поднимается и начинает прощаться: «Я, — говорит, — к вам лучше в другое время заеду». Тут только я взглянул, и можете себе представить мое удивление: передо мною был вовсе не Ратынский, а Боткин. Каково положение! Как я раньше его не узнал, — просто понять не могу. Если уж в лицо не смотрел, так по походке, по голосу, наконец, по вопросам можно было узнать. Совсем про него забыл. Но хуже всего то, что ничего ему не сказал, что принял его за Ратынского. Неловко как-то было. Так он и уехал. Что теперь обо мне он может подумать? Совсем, скажет, человек с ума сошел, или отнесет это к тому, что я обиделся за то, что он вчера же не приехал, а я, право, об этом и не думал, потому что знаю, как он бывает иногда занят. К тому же он всегда ко мне так любезен и внимателен. Никогда я его так не принял бы. Думаю письмо ему написать...

Не знаю, писал ли что-нибудь Салтыков Боткину или как-нибудь иначе объяснился, — лично или через знакомых, — знаю только, что отношения Боткина к нему вследствие этого случая не переменились, да дело и не в этом, а в том, что ему нередко мешали работать и приводили его в дурное настроение, и что, несмотря на это, он все-таки не запирает своих дверей и ухитрялся много работать.

У Салтыкова было два рода знакомств и отношений: чисто домашние и литературные, которые он весьма резонно разделял и никогда не смешивал, и не смешивал, я думаю, не столько ради ограждения домашней жизни, сколько ради ограждения литературы от всего ей стороннего и чуждого. Литература была для него, особенно в тот период, о котором мы говорим, главным фокусом и фактором его жизни. Он считал ее не только важным и серьезным делом, но едва ли не самым важным и серьезным из всех земных дел. Он видел в ней высшее служение обществу и собственное личное призвание, называл ее даже «вечным делом» и вообще был связан с нею самым тесным образом

как нравственно, так и материально, потому что, *volens-noles*, она являлась и источником существования, — источником, подверженным многим случайностям и переполненным терниями. Литература занимала в его жизни такое большое место и играла такую роль, что остальные интересы отступали на задний план. Вот что сам он говорит в наброске, который мы цитировали выше: «...наконец, закрытие “Отечественных записок» и болезнь сына окончательно сломили меня. Недуг охватил меня со всех сторон” и т. д. А в «Приключении с Крамольниковым», изображающем его собственное душевное состояние в это время, читаем следующее: у коренного пошехонского литератора Крамольникова «не было никакой иной привязанности, кроме общения с читателем... В этой привязанности к отвлеченной личности было что-то исключительное, до болезненности страстное. Целые десятки лет она одна питала его и с каждым годом делалась все больше и больше настоятельно. Наконец пришла старость, и все блага жизни, кроме одного, высшего и существеннейшего, окончательно сделались для него безразличными и ненужными», и все разнообразие жизни и весь интерес ее сосредоточились «в одной светящей точке», т. е. в литературе и в том же общении при ее помощи с читателем. Затем в одном из «Писем к тетеньке» Салтыков говорит, что литература ему особенно дорога потому, что на ней с детства были сосредоточены все его упования:

«Весь жизненный процесс этого замкнутого, по воле судеб, мира был моим личным жизненным процессом; его незащищенность — моей незащищенностью; его замученность — моей замученностью; наконец, его кратковременные и редкие ликования — моими ликованиями. Это чувство отождествления личной жизни с жизнью излюбленного дела так сильно и принимает с годами такие размеры, что заслоняет от глаза даже широкую, не знающую берегов жизнь».

Не совсем, конечно, заслоняет, потому что Салтыков смотрел на литературу прежде всего как на отражение жизни, считал, что общение с жизнью «всегда было и всегда будет целью всех стремлений литературы», и, сообразно с этим, возлагал на нее и великие упования, и большую ответственность. Литература представлялась ему одним из самых могущественных средств воздействия на общество и вместе с тем делом, имеющим не минутное только и скоропреходящее значение, а соприкасающимся «с идеею о вечности» делом в своем роде единственным, где «мысль человеческая может оставить прочный след». Вот что говорит он в «Круглом годе» не-

скольким беспшашным соотечественникам, мечтающим в Ницце об искоренении литературы: «Милостивые государи! Вам, конечно, неизвестно выражение: *scripta manent*\*. Я уже, под личную за сие ответственность, присовокупляю: *semper manent, in secula seculorum*\*\*! Да, господа, литература не умрет!.. Все, что мы видим вокруг нас, все в свое время обратится частью в развалины, частью в навоз, — одна литература вечно останется целою и непоколебленною. Одна литература изъята из законов тления, она одна не признает смерти. Несмотря ни на что, она вечно будет жить и в памятниках прошлого, и в памятниках настоящего, и в памятниках будущего. Не найдется такого момента в истории человечества, при котором можно было бы с уверенностью сказать: вот момент, когда литература была упразднена. Не было таких моментов, нет и не будет. Ибо ничто так не соприкасается с идеей о вечности, ничто так не поясняет ее, как представление о литературе».

Затем далее читаем:

«Я страстно и исключительно предан литературе; нет для меня образа достолюбезнее и похвальнее, дороже образа, представляемого литературой; я признаю литературу всецело со всеми уклонениями и осложнениями, даже с московскими кликушами».

Допуская в литературе заблуждения, так как сама же литература, к вящему выяснению истины, и исправляет их, Салтыков верил, что московское кликушество со всем его обскурантизмом, со всей его непреднамеренной и преднамеренной злобою и ложью не выдержит открытой и равной борьбы с истиной, что все низменное и темное исчезнет, пройдет и «одни только усилия честной мысли останутся неизбежными». Таково, говорит он, мое глубокое убеждение, и «не будь у меня этого убеждения, этой веры в литературу, в ее животворящую мощь, мне было бы больно жить». Не менее сильно любовь к литературе сказалась и в маленькой предсмертной приписке Салтыкова в письме к сыну, где он как бы завещает ему эту любовь, говоря: «паче всего люби родную литературу и звание литератора предпочитай всякому другому».

Немудрено, что Салтыков жертвовал литературе и здоровьем, и связями, и отношениями. Сам он мне раз говорил, что литература была причиной того, что он перессорился с большинством своих

---

\* Написанное останется (лат.). — *Ред.*

\*\* Навсегда останется, во веки веков! (лат.). — *Ред.*

родных и прежних знакомых, что бывшее его начальство, товарищи и сослуживцы начали коситься, когда увидели, что он всецело отдался литературе, да еще отрицательного направления. Связей своих с высшим обществом он, впрочем, и сам не поддерживал. Вначале они как-то сами собою держались, а потом хотя и не совсем прекратились, но все более и более ослабевали. С одними он разошелся принципиально, с другими лично как человек строгий и не любивший компромиссов, третьим, заметив с их стороны охлаждение, не хотел кланяться: слишком не соответствовало это его натуре.

— Я ни у кого не заискиваю, — говорил он с достоинством, — никому не кланяюсь и ни у кого не бываю; ко мне еще по старой памяти кое-кто заходит, да и то редко.

У него было несколько человек хороших знакомых, по большей части стоявших близко к литературе и относившихся к ней совсем иначе, которыми он и ограничивался. Это были знакомства постоянные, многолетние, которыми он дорожил, которые не налагали на него уз высшего света, не стесняли и не заставляли казаться в ином виде, чем он был на самом деле. С ним не считались визитами, он мог реже бывать, чем у него бывают, мог ехать в обыкновенном пиджаке, в котором ходил каждый день, мог, садясь за карты, ворчать сколько ему угодно, и т. д. А затем у него были знакомства чисто литературные, как прежние, так и новые, которые создавались «Отечественными записками». Но все-таки благодаря своим прежним связям в высшем служебном мире он получал обыкновенно очень рано сведения о недовольстве журналом и литературой вообще, о том, что ей предстоит впереди и что проектируется на будущее время. Можно было также иногда встретить у него, помимо литературных и обычных знакомых, и кого-нибудь из людей совершенно иного круга. К некоторым из них, как, например, к графу Лорис-Меликову, которого он раньше знал и который был в хороших отношениях с Некрасовым, он еще хорошо относился<sup>4</sup>, но некоторые знакомства его положительно тяготили. Помню, например, как он был недоволен и сердился, узнав, что к нему собирается с визитом Трепов. Знаменитый петербургский градоначальник после отставки жил одно время в одном с ним доме на Литейном, познакомился на прогулке с его детьми и выразил желание и с ним познакомиться, сказав, что думает зайти для этого на днях...

— Скажите, пожалуйста, для чего это нужно? — волновался Салтыков. — Что я с ним буду говорить?! Он литературой никогда не занимался, а я по полиции никогда не служил, что же у нас обще-

го? Если просто посмотреть на меня, любопытства ради, так не настолько я интересен. Он, наверное, видал многих... интереснее меня...

В расположении своем к людям Салтыков был очень постоянен; но если это расположение в качестве личного чувства сталкивалось с вопросом о нелицеприятном и самоотверженном служении литературе, ему становилось очень неприятно. В отрывках из его писем к Н. К. Михайловскому, напечатанных в «Русской мысли», находим, между прочим, такого рода строки по поводу некоторых помарок, сделанных им в статье Михайловского:

«Я утром ждал вас, но не дождался. Впрочем, корректуры с моими пометками у вас... Будьте так добры, сделайте мне эти уступки... Я зачеркнул, между прочим, и упоминание об Анненкове. Если хотите, восстановите его, но он мой приятель, и я как-то не возвысился еще до того, чтобы оставить отца и мать и прилепиться к журналу».

То же самое было и со мной по поводу Кавелина. Кавелин выпустил книжку о «крестьянском вопросе». Я написал рецензию, где не похвалил его и особенно подчеркнул политическую неопределенность его взглядов, стремление всегда стать на какую-то такую высоту, с которой всегда получается двоякое решение вопроса: и так, и этак. Получаю от Салтыкова письмо. Прихожу и вижу у него на столе корректуру.

— У меня, — говорит, — есть к вам большая просьба, которую, собственно говоря, я не вправе был бы делать, потому что совершенно согласен с вашим отзывом. Нам иначе и нельзя относиться к кавелинской эквилибристике, но тут вопрос чисто личный, мой: не сорьте меня, пожалуйста, с ним... Человек он, право, недурной, а уж это так он по-профессорски устроен. Я уж и так для литературы порвал решительно все свои прежние отношения: у меня ведь из прежних приятелей и знакомых осталось всего-навсего два-три человека. Пусть же хоть они останутся! Сделайте мне, пожалуйста, эту уступку: не будем печатать эту рецензию.

Разумеется, я согласился. Говоря это, Салтыков возвышал тон, и я ясно видел, что он и конфузится, и сердится, что у него остается нечто, с чем жаль и трудно расстаться. Хотя это нечто было такое маленькое, естественное и обыкновенное, что не стоило бы о нем даже и говорить, так как у каждого писателя есть отношения и лица, которые он щадит; но его это уже беспокоило.

Слишком цельная у него была натура, тяготившаяся всякими компромиссами. И при этом, очевидно, ему и в голову не приходило искать каких бы то ни было оправданий, а прямо решалось, что он не поднялся до известной высоты, до которой иные возвы-

шаются. Уж он ли, кажется, не оставил много ради журнальной деятельности и правды; но раз являлось обстоятельство, мешавшее цельности понятия, он не мог чувствовать себя удовлетворенным. Последовательность и строгость к себе позволяли ему прилагать такую же мерку и к сотрудникам. Больше всего он сердился на недостаточное усердие и внимание к журналу. Большинство сотрудников, и я в том числе, были значительно моложе Михаила Евграфовича, а потому он относился к нам иногда как старший к младшим; но обидного в таких отношениях ничего не было, так как вы сейчас же убеждались и в его искреннем к вам расположении, и — весьма нередко — в правоте. Сам он, как я уже говорил, вкладывал в журнал всю душу и привнес в дело чисто служебную привычку к аккуратности и пунктуальности. Требовал того же и от других.

— Вы как следует никто не работаете, — обыкновенно говорил он, — и относитесь к делу спустя рукава. Вы все думаете, что мы вечно будем жить. Придется же когда-нибудь и вам самостоятельно вести журнал... Дело это вовсе не шуточное. Это большое дело, а для вас все равно.

— Из чего же это вы заключаете?

— Как из чего, слепой я, что ли? Никогда посоветоваться не придете, каждый что вздумает, то и пишет. Я еще, право, удивляюсь, как у нас книжки более или менее согласно составляются... Да и работаете-то как! Напишете лист с четвертью и думаете, что в пределах земных совершили все земное. Я больше вас пишу.

— Не всякий так может работать, как вы.

— Приучайте себя.

— Да уж поздно приучать-то.

— Почему?

— Да потому, что мы уж не дети.

— А старики, да? Из вас кто старше, — N.? Позвольте узнать, сколько ему лет?

— Почти сорок.

— Ах, какой удивительный возраст! Я в 40 лет только начал работать как следует.

Иной раз просто нельзя было не рассмеяться, но на это всегда следовало замечание, что «смеяться мы умеем», и приводился какой-нибудь такой аргумент, который должен был показать, что смешного тут ничего нет.

— Вот вы смеетесь, а не угодно ли посмотреть вот (он показывал обыкновенно чью-нибудь всю перемаранную корректуру, над которою сидел). Меня одни наши переводчики замучили своими переводами.

— Почему же вы сами это делаете и не поручите кому-нибудь? Ведь никто из нас не отказывается...

— Потому что желания не вижу. Я не знаю, согласитесь вы на это или нет. Это — работа египетская, каторжная.

Мы пробовали брать у него редакторские корректуры, но это было бесполезно, потому что он все равно над ними сидел, поправляя слог, изменяя абзацы и т. п., и сидел не над исправленными уже формами, а над теми, которые и ему посылались одновременно с нами. Такой уж это был беспокойный и заботливый человек.

### **5. Салтыков как писатель и семьянин**

<...> Хотя критическая оценка произведений Салтыкова не входит в нашу задачу, но мы не можем все-таки не сказать о них нескольких слов. Прежде всего следует заметить, что прикладывать к ним какую-либо из установившихся критических мерок довольно трудно. Он до того перетасовывал все роды и виды литературы: поэзию с публицистикой, эпическое повествование с сатирой, трагедию с комедией и т. д., — что, читая его сочинения, трудно сказать, что именно перед вами, а между тем впечатление получается сильное, цельное и живое. У него сплошь и рядом нет никакой внешней архитектуры, а между тем есть произведения, которые по глубине мысли, яркости красок и силе художественного впечатления могут быть сопоставлены с произведениями лучших европейских писателей и с образцами всемирной литературы. Он совершенно игнорировал установившиеся рамки и формы и руководился больше всего овладевавшими им в данное время идеями и теми возвышенными целями, которых желал достигнуть; поэтому произведения его выходили в высшей степени своеобразными. А потому при оценке лучше всего руководствоваться их идейным содержанием и тем непосредственным, живым впечатлением, какое они производят на читателя. Мы найдем у Салтыкова целые коллекции сознательных и бессознательных лицемеров, лгунов, жестокосердых людей, самодуров, безличных «чего изволите» с национальными чертами и т. д.; а вместе с тем найдем также не менее богатую коллекцию униженных и оскорбленных, то сохраняющих еще в душе чувство недовольства и надежды на нечто лучшее, то совсем уже задавленных жизнью и не протестующих, а молча несущих гнет или же молча ждущих, когда наступит на их улице праздник, чтобы без всякой пощады и сострадания мстить своим притеснителям, как это делает Анфиса Порфирьевна в отношениях с мужем в «Пошехонской

старине». Вряд ли у кого-либо из других писателей окажется такое обилие и разнообразие фигур, как у Салтыкова. Все слабое и угнетаемое, начиная с детей, над которыми производятся всевозможные эксперименты и которые в защиту себя ничего сказать не могут, и кончая крепостной подневольной массой, находило в нем горячую защиту, а все стеснявшее жизнь, напротив, встречало дремлющего противника. Его сатира часто была единственным возмездием злу и апелляцией к разуму, чести и совести. Иногда он повторялся, что и сам признавал, когда его в этом упрекали; но повторений у него все-таки немного и не так уж они буквальны и безынтересны, чтобы ставить их ему в укор. Объяснял он это очень просто и вполне естественно, а именно тем, что он всегда был занят исключительно злобами дня, к которым приурочена была вся его литературная деятельность и которые в течение нескольких десятков лет тоже повторялись с удручающим однообразием. Есть для этого и другие объяснения, лежащие в самих условиях журнальной работы; наконец, Салтыкову приходилось иногда возвращаться к сказанному с целями полемическими.

Кто знал лично Михаила Евграфовича, тот при чтении его сочинений получает особое удовольствие, потому что писал он часто то, что говорил, и писал совершенно так же, как говорил (только лирических отступлений да подробностей в разговоре обыкновенно не встречалось), так что точно видишь его перед собою и слышишь его голос.

А видеть его всегда было интересно. Смотря по состоянию здоровья и настроению, он в редакции или говорил только о текущих делах по журналу и коротко, как бы нехотя, отвечал на вопросы, или начинал что-нибудь рассказывать: по большей части какие-нибудь слухи и новости, имевшие общественное значение, проекты разных мероприятий, касавшиеся преимущественно литературы, причем нередко можно было слышать обычный его возглас: «Каково положение!» Настоящее всегда сказывалось и сопоставлялось с прошлым, так что можно было слышать от него и воспоминания как из своей прежней жизни, так и из жизни некоторых лиц высшего общества, из которых одни были его товарищами по школе, а с другими — как, например, с графом Д. А. Толстым, — судьба свела его потом, по выходе из школы. Продавши подмосковное имение, Салтыков купил небольшое имение под Петербургом [Подмосковное имение Салтыкова находилось в Дмитровском уезде. Для покупки его он занял у матери 20 тысяч рублей, из которых 16 тысяч выплатил ей самой, а остальные 4 тысячи после ее смерти, по завещанию, кому-то из сонаследни-

ков. Второе имение находилось в 16 верстах от Ораниенбаума.] и пытался там хозяйничать, но испытывал только неудачи. Эти неудачи, в связи с самим способом приобретения имения, тоже неудачным, были темой целого ряда живых и интересных рассказов, которые потом вошли в «Монрепо». Монрепо это в конце концов также было продано, принеся хозяину только убытки. Нередко Салтыков начинал также рассказывать что-нибудь такое, над чем нельзя было не смеяться, особенно глядя при этом на его почти всегда серьезное лицо. По большей части это была действительность, изукрашенная его фантазией. Обыкновенно в таких случаях присутствовавшие хохотали самым неудержимым образом, сам же он никогда громко не смеялся, а только изредка улыбался, да и то лишь в тех случаях, когда добродушно рассказывал что-нибудь комическое про знакомых или когда предмет, о котором шла речь, был незначителен и только забавен. Смешить — вовсе не было его целью; напротив, он всегда боялся прослыть писателем «по смешной части» и даже в разговоре оставался иногда недоволен тем, что смеются, хотя мог бы уж, кажется, привыкнуть к этому и допускать, что нельзя не смеяться, слушая смешные вещи. Зависело это от совершенно своеобразных свойств его рассказа и столь же своеобразного отношения к тому, о чем он говорил: он часто возмущался и негодовал, но в то же время придумывал для предмета негодования одно положение смешнее другого, и чем он больше останавливался на таком предмете, тем, кажется, неистощимее становилась его фантазия. Это было чисто личною его особенностью, чисто личным оружием, как хобот у слона, как зубы и когти у медведя, — оружием, которым он владел в совершенстве и которое пускал в ход чисто рефлексивно, хотя в то же время и не бессознательно, а постоянно держа его под контролем и руководством разума.

Он не мог спокойно и хладнокровно относиться к тому, что было бессмысленно, бессовестно, фальшиво, надменно, цинично, словом, что возмущало его чувство и не мирилось с логикой, и сейчас же реагировал на это как мог и умел, как находил лучше и целесообразнее. Людей и предметы, которые в этом отрицательном смысле обращали на себя его внимание, он всегда почти освещал со стороны совершенно неожиданной, самой прозаической, характеризовал их необыкновенно метко несколькими штрихами и открывал в них какую-нибудь новую глупость или гадость, которых вы, может быть, и не подозревали. К таким скрытым и приличия ради прикрытым глупостям и гадостям он был особенно беспощаден и вытаскивал таких людей на свет без всякой церемонии, во всей их наготе, в наи-

более показной и неудобной для них форме: смотрите, мол, какая это гадина, какая скотина! Он сердился при этом на них, но до злобной вражды и ратоборства с ними редко доходил, а по большей части смотрел на них с известной высоты общечеловеческого и своего личного достоинства. Это была, с одной стороны, настоящая мера вещей, а с другой, если хотите, известная доля душевной мягкости и художественной объективности.

Рисуя ужаснейших злодеев и негодяев, он или указывал причины и условия, сделавшие их такими, или искал способов воздействия на них, пробуждения в них стыда или, по крайней мере, страха перед судом детей и потомства, вообще, верил в возможность просияния злодейской души и не мог понять своей человеческой душой злодейства темного и совсем уж беспросветного. Может быть, в отношении истины и самого взгляда на такого рода отрицательные явления это было неправильно, но зато это поддерживало в нем веру в человеческую природу и спасало от разочарования.

По всей вероятности, это и подало повод в 70-х годах одному критику посмотреть на его смех как на смех больше для смеха, потому будто бы и не особенно обидный тем, на кого он направлен<sup>5</sup>. Какой это было ошибкой со стороны талантливого критика — нечего, конечно, и говорить. Салтыков опроверг это всей своей как прежней, так и в особенности последующей деятельностью, опроверг целым рядом произведений, возбуждающих не только смех и совсем смеха не возбуждающих. Были вещи, над которыми Салтыков не смеялся, которые точно подавляли его, и над которыми и другие тоже не смеялись, когда он о них говорил или рассказывал. И таких вещей было немало. Были также вещи, над которыми он не смеялся по другим причинам, чтобы не дать оружия в руки врагам, чтобы даже как-нибудь косвенно не поддержать реакционных усилий, или над которыми хоть и смеялся в частной беседе, но никогда не напечатал о них ни строчки, несмотря на то, что мог бы создать пресмешные вещи. Повторяю: смех никогда не был для него целью, а был только средством. Но если бы даже он ограничился только смехом, только приклеиванием позорных ярлыков и надеванием дурацких колпаков на людей, которые этого заслуживали, то и это было бы уже большой заслугой: общественный смех есть признак сознания и критического отношения к тому, что считалось дотоле выше каких бы то ни было сомнений, что незаслуженно пользовалось авторитетом и злоупотребляло им. Можно указать случаи, когда смех Салтыкова достигал именно той цели, какую он имел в виду; можно указать также и людей, которые до самой смерти ходили, а другие и теперь еще ходят и будут ходить с его ярлыками.

В мужском обществе и тем более в своем кружке Салтыков в выражениях не стеснялся, и замечательно, что это никогда не производило дурного впечатления и не носило дурного характера, как у других. Вот уж именно: то же слово, да не так молвится. Вы ясно видели, что говорит это человек несомненно нравственный, который делает нецензурные сравнения только потому, что так короче и образительней выходит, что, наконец, самому предмету, о котором он говорит, наиболее приличествует именно такая форма выражения. Отчасти это можно видеть и в некоторых его сочинениях, где тоже попадаются иногда кое-какие словечки и положения, соответствующие нескромному характеру и свойствам действующих лиц, но где вы все-таки не найдете скабрёзности. Салтыков вообще не терпел скабрёзности и порнографии, особенно в литературе. Один из бывших сотрудников «Отечественных записок» (С. Н. Южаков) рассказывает о нем, между прочим, в своих воспоминаниях, почему он однажды не принял повесть начинающего автора и как не мог удержаться, когда тот пришел за ответом, чтобы не сказать в его присутствии случившимся тут же сотрудникам: «Ведь вот автор — совсем юноша... а мне, старику, было стыдно читать его повесть, столько скабрёзности». Скабрёзность всегда его шокировала, даже у известных писателей и в хороших произведениях.

Мы знали Салтыкова главным образом в литературных его отношениях, и в этом случае, мне кажется, лучшей для него характеристикой может служить то удивительное единодушие, какое высказали все писавшие о нем сотрудники. Не могу не привести нескольких строк из воспоминаний своих бывших товарищей, как для того, чтобы показать их сходство, так и для того, чтобы избежать повторений.

Н. К. Михайловский говорит, что Салтыков часто был резок, раздражителен, несдержан в выражениях и что внешность его только усиливала это впечатление: резкая перпендикулярная складка между бровей на прекрасном открытом лбу, сильно выпуклые глаза, сурово и как-то непреклонно смотревшие прямо в глаза собеседнику, грубый голос, угрюмый вид, «но иногда это суровое лицо все освещалось такою почти детски добродушной улыбкой, что даже люди, мало его знавшие, но попадавшие под свет этой улыбки, понимали, какая наивная и добрая душа кроется под его угрюмой внешностью. О тех, кто его близко знал, нечего и говорить. Он не мог не поворачивать в разговоре с кем бы то ни было... но все знали, что это только воркотня и что в конце концов она ничем не отзовется на деле и действительных отношениях... Это был истинно добрый человек, всегда готовый помочь нуждающемуся словом и делом. Мелких же чувств

мстительности, подозрительности, соперничества в нем не было даже самых слабых следов».

А. М. Скабичевский сообщает: в обществе ходили баснословные слухи о мнимых суровости, жестокости и даже бранчивости, с какими Салтыков будто бы обращался с людьми не только близкими, но и совершенно незнакомыми, которых в первый раз видел. Вследствие этих слухов начинающие авторы, впервые являвшиеся к нему, сильно потрухивали и робели.

«Но эти слухи крайне преувеличены. Действительно, его лицо носило по большей части суровое и несколько даже мрачное выражение, и в нервном голосе очень часто слышались ноты болезненной раздражительности, что могло пугать каждого непривычного человека. Но все это не мешало ему быть человеком, в сущности, крайне добрым, с мягким сердцем, и даже нежным сердцем, неспособным отказывать в чем-либо людям и вообще оставаться безучастным к их нуждам». «Часто случалось, — говорит он дальше, — что к нему обращались за авансом сотрудники, забравшие немало уже денег и потерявшие, по-видимому, всякое право на новые авансы. Салтыков выходил из себя в таких случаях. Грозный голос его начинал раздаваться по всем комнатам редакции: “Это невозможно! — кричал он. — Это черт знает что такое!.. Мы и без того роздали безвозвратно до 30 тысяч! Что же с нами будет, наконец, чем же это кончится?” и т. д. И кончалось всегда тем, что... он брал лист бумаги и писал ордер в контору о выдаче сотруднику суммы, которую тот просил».

Равным образом и состоявшие при редакции конторщики, метранпажи и другие служащие несколько его не боялись и прямо говорили: «Что нам Михаил Евграфович! Он только так кричит, а мы его несколько не боимся». Однажды при Скабичевском он с ужасным гневом напустился на метранпажа за то, что тот слишком скоро набрал весь отданный в типографию материал для книжки и явился за новым. «Чего вы торопитесь! — кричал он. — Едите вы, что ли, рукописи? Ему не успеешь дать рукопись, уж у него и готово. Да что вы в неделю хотите набрать книжку, что ли?.. Набрали, так и ждите теперь, а от меня вы больше ничего раньше недели не получите, ничего!..» Понятно, что, слушая такую распеканцию, метранпаж еле удерживался от смеха, потому что она, в сущности, была ему похвалой. Но Салтыков действительно сердился в это время.

«Страх, который внушал Салтыков робким людям, — говорит г-н Скабичевский, — происходил главным образом от двух его достоинств: крайнего прямодушия и нервного отвращения ко всему фальшивому и неискреннему. Как только он видел что-либо подобное,

его сейчас же начинало коробить, он не мог не высказать человеку в глаза того впечатления, которое тот на него производил, и высказать со всем тем саркастическим остроумием, которым он был наделен. Не гнев его был страшен, а, скорее, те шуточки, которыми он способен был уничтожить собеседника... Но зато если Салтыков усматривал в человеке природный ум, честность и искренность, он делался с таким человеком крайне мягок, деликатен, любезен и вполне откровенен».

Я. В. Абрамов<sup>6</sup> также опровергает разные нелепые слухи, ходившие относительно Салтыкова, и говорит, что он является в его воспоминаниях «чрезвычайно мягким, добрым и глубоко симпатичным человеком», что он всегда встречал в нем «внимательного и заботливого человека», интересовавшегося как его занятиями, так и «материальным положением», и что таково же, насколько он мог заметить, «было его отношение и ко всем другим сотрудникам». То же говорит и г-н Южаков<sup>7</sup>. То же самое, разумеется, сказал бы и я, и не знаю — сказал ли бы лучше, а потому посмотрим на черты его характера, менее подчеркнутые и не так резко бросающиеся в глаза.

Несмотря на свою прямоту и суровость, он был в отношении сотрудников и людей, которых знал или которые ему казались искренними, замечательно деликатен. Я уже указывал выше, как он умело вел редакторское дело, не оскорбляя литературных самолюбий, едва ли не самых болезненных в мире, с которыми ему приходилось постоянно встречаться. А между тем в то же время он всегда указывал людям их ошибки и промахи, нисколько не стеснялся высказывать неприятные истины прямо в глаза. Делалось это, несмотря на кажущуюся внешнюю резкость, в такой сердечной, чисто товарищеской форме, что люди не обижались, а если и обижались, то чувствовали, что не вправе сердиться: на его стороне была правда и самая задушевная доброжелательность. Человек чувствовал, что его не желают вовсе оскорбить, а просто говорят ему то, что следует и чего от других он во веки веков не услышит и ни за какие сокровища не купит. Если бы Салтыков оказался неправ и кому-нибудь незаслуженно причинил обиду, то это, наверное, долго его мучило бы.

В тех случаях, когда нечто подобное происходило или когда он только предполагал, что человек мог обидеться, он всегда извинялся перед ним и говорил: «Вы, пожалуйста, на меня не сердитесь», «Пожалуйста, извините, но, право, я не хотел вас обидеть». Морщился он при этом, неприятно было ему сознавать свою неправоту, но, тем не менее, извинялся всегда с самым чистым сердцем, потому что сердце у него было действительно чистое, чуждое каких-

либо дурных чувств против ближнего. После каждой горячности и крупного разговора он обыкновенно становился очень мягок, точно смотрел: не обидел ли кого и не нужно ли загладить обиду.

В обращении с людьми Салтыков был совершенно одинаков, как бы ни была велика разница в их общественном положении: был ли перед ним богач или бедняк, граф, князь, генерал или простой мещанин и разночинец в длинных сапогах и ситцевой рубахе, — со всеми он говорил одинаково. Он различал людей только по их достоинствам и внутренним качествам, когда узнавал их ближе: одни ему нравились, одних он любил или уважал и относился к ним замечательно хорошо, других, наоборот, совсем не уважал и не любил, и скрыть этого уже никак не мог. Его так и тянуло или посмеяться и сказать что-нибудь неприятное такому человеку, или уйти от греха, уйти от того неприятного впечатления, которое тот на него производил. Были некоторые посетители и посетительницы, заходившие в редакцию по какому-нибудь делу, которых он просто не выносил и при одном их появлении сейчас же замолкал, начинал на них коситься и всячески избегать разговора. «Не угодно ли вам поговорить (с ним или с ней)», «Примите чашу сию, а я просто не могу», — говаривал он иногда кому-нибудь из сотрудников или начинал спрашивать: «Как вы думаете, скоро они уйдут?»

Не могу не рассказать, как он в некоторых случаях стеснялся возвращать рукописи. Помню, раз через меня поступила в редакцию рукопись одной моей знакомой писательницы, человека очень скромного и малоизвестного. Это было в самом начале моего сотрудничества в «Отечественных записках». Я в то время жил в Лесном и не каждый раз бывал в редакции; а потому в назначенный срок, через две недели, сказал знакомой, чтобы она сама зашла за ответом. Салтыков никакого ответа ей не дал, а сказал только, что желает видеть меня и что через меня же и даст ответ. Несколько дней я был занят и в городе не был, а потому не был и у него. В воскресенье получаю от него письмо: непременно просил приехать завтра в редакцию. Приезжаю, отводит меня в сторону и говорит:

— Послушайте, должно быть, эта ваша знакомая — очень хороший человек. Это по рассказу видно, но что делать: рассказ-то ведь плох, не по мысли, а в литературном отношении. Она тут была в прошлый понедельник. Отказать — язык не поворачивается: может быть, она нуждается и надеялась на эту работу; в рассказе у нее такое знакомство с нуждой, что, верно, она сама ее испытала или испытывает... А с другой стороны, и нам тоже как-то неловко слабые вещи принимать. У нас их и без того достаточно. Сделайте

одолжение, снимите с меня эту тягость и скажите ей об этом как-нибудь так, чтобы она не обиделась. Когда знаешь человека, то это как-то лучше выходит. А если ей деньги нужны, то можно выдать: что-нибудь другое напишет, может быть, удачнее выйдет.

Вспоминаю также случай деликатности со мной, тоже отчасти касавшийся денежного вопроса. Нашла раз на меня проруха: написал я рецензию на сочинение Чичерина<sup>8</sup> о немецких социалистах — К. Марксе и Лассале. Рецензия эта, несмотря на то, что была чисто теоретической, не понравилась в цензуре... Прошло года три или четыре, Чичерин как-то опять проявился на московском небосклоне с вышеуказанным сочинением и кандидатурой на должность московского городского головы, а я, не прельщаясь наделавшею тогда эффекта его речью, расширил свою рецензию в статью и пустил ее под другим названием, надеясь, что через такое значительное время она пройдет. Книжка была послана в цензуру, и срок получения разрешения истекал, по обыкновению, к редакционному дню, как это приравнивалось для удобства раздачи гонорара и новых книжек сотрудникам, а также для отбора материала в следующую книжку. Прихожу я в редакцию, ничего не подозревая; Салтыков любезен, как-то даже особенно ласков и говорит, что книжка вышла; то же повторяют и другие; то же говорит и конторщик, раздавая деньги сотрудникам. «Получите, — говорит, — и вы». Я получил, сколько причиталось, и расписался. Спрашиваю: а где же книжка, нельзя ли получить экземпляр? — «Сейчас, — говорит, — ее принесут». Затем посидели некоторое время, поговорили о текущих делах, приходили посетители, словом, все шло своим чередом, и я ничего не замечал. Наконец Салтыков распрощался и уехал, а как только он уехал, так вдруг откуда-то появилась и книжка. Смотрю, моей статьи в ней нет... Салтыков, не желая меня огорчать или, лучше сказать, видеть моего огорчения, просил всех не говорить мне об этом, пока он не уйдет из редакции. Он по себе знал, насколько это огорчительно, а с другой стороны, и статья ему нравилась. Мне действительно было очень неприятно и жаль статью, а затем и положение мое относительно гонорара вышло довольно неловким: я уже получил раз деньги за исключенную рецензию, а теперь вторично получал, в сущности, за ту же самую работу, которая тоже не пригодилась журналу. Выходило так, как будто я обладаю какой-то сказочной ценностью, которая другому не дается и постоянно ко мне же возвращается. К тому же денежное мое положение было вовсе не плохим: кроме платы за статьи, я получал еще от редакции хорошее жалованье. Видя, что конторщик уже ушел, я, когда возвращался домой, зашел в контору и предложил

ему деньги обратно, но получил в ответ, что он сделать этого никак не может, потому что Салтыков приказал не брать от меня денег: «Не велел, — говорит, — сказывать вам, что статья исключена, и книжку не велел показывать, покуда денег не получите, а потом денег назад не велел брать». Значит, он и тут уже распорядился. Говорил я ему потом об этом раза два, но он и слушать не хотел, повторяя только одно: «Ах, как это скучно, право. Ведь и во второй раз вы работали над статьей, не сама же она написалась, следовательно, не о чем тут и говорить; если же не хотите брать денег или у вас их так много, что некуда девать, так отдайте кому-нибудь». Положение мое в данном случае было, впрочем, совсем не исключительным: все статьи, раз принятые редакцией, оплачивались, даже если почему-нибудь — «по независящим» или иным причинам — и не были напечатаны.

Вообще, в денежных вопросах и делах с пишущей братией Салтыков был гораздо более щедр, чем это могло показаться по скромности его личных потребностей и тем случаям, когда он начинал ворчать при выдаче некоторых авансов. Он при этом легко мог производить впечатление человека скупого и прижимистого и относительно непроеводительных трат, предметов роскоши и бестолкового разбрасывания и раздачи денег действительно был прижимист. Не походил он также и на поэта, живущего постоянно в эмпиреях и не знающего счета деньгам. Он был просто по-крестьянски домовитым человеком, желал, чтобы и самому в старости не нуждаться и умереть с уверенностью, что и семья тоже не будет нуждаться. И все это на почве труда, энергии и бережливости. Желал он того же и другим, и мало того, что желал, а считал это даже необходимым для каждого и беспокоился, когда кому-нибудь не удавалось достигнуть хоть самого небольшого достатка, или сердился, когда видел, что человек живет бестолково и не думает о будущем. Он постоянно выдавал авансы, и авансы значительные; мало того, сам даже предлагал иногда денег, когда узнавал, что люди нуждаются, и предлагал людям, которых мало знал, лишь бы только они были писателями, и из писаний их было видно, что они люди порядочные.

Я только что привел один такой пример со знакомой писательницей, хотя она предложением и не воспользовалась. Другой такой же пример рассказывает г-н Абрамов про себя: Салтыков совсем его еще не знал и в первый раз видел (только одна первая статья его тогда была напечатана в «Отечественных записках»), а между тем, узнав из разговора, что он едет с небольшою суммою в дальнюю дорогу, сам предложил ему «порядочный аванс», какой тот назначил. Наверное, были и можно припомнить и другие подобные же случаи. Г-н Абрамов

совершенно верно говорит, что если не все, то почти все сотрудники «прибегали постоянно к этим авансам, а некоторые так и не выходили из долгов», что, «кажется, не проходило редакционного дня без того, чтобы кто-нибудь не обращался за авансом», и что «отказа никогда не было». Салтыков не любил только «бесконечных» авансов, как называл он те случаи, когда человек, не давая долго статей, чуть ли не каждый месяц атаковал его просьбами, и не любил также слишком маленьких выдач, которые только усложняли счета. Арендуя «Отечественные записки», он мог бы получать от издания гораздо больше, если бы, подобно другим издателям, меньше думал об интересах пишущих.

Он всегда порицал маленькие гонорары, существующие в некоторых изданиях для людей начинающих и малоизвестных, и всегда назначал плату не ниже, а выше, чем в других журналах, а затем с течением времени плата эта повышалась. В некоторых случаях гонорары «Отечественных записок» достигали очень больших размеров. Некоторые сотрудники получали больше, чем Салтыков: я помню время, когда расчет ему производился по 200 рублей за лист, а другие получали по 250 рублей. Потом они сравнялись. Случайные статьи известных писателей также иногда оплачивались дороже. В числе сотрудников всегда было несколько человек, которые получали постоянное жалование. В случае болезни или каких-либо житейских передрыг жалование это сохранялось за ними долго или выдавалось их семьям. Долги сотрудников, когда их положение оказывалось плохим, постоянно «прощались». Когда «Отечественные записки» закрылись, то многие оказались должны журналу, и все эти долги были списаны; кроме того, почти все, кто постоянно работал для журнала и жил текущею работой, получили по несколько сот рублей, что дало им возможность перебиться до приискания новой работы.

### **6. Салтыков как мирской человек**

<...> ...мне хочется отметить одну чисто народную черту характера Салтыкова: он был артельным, мирским человеком, не в смысле мирского времяпрепровождения или каких-либо развлечений, совершенно для него чуждых, а в смысле склонности жить и действовать артелью, миром, постоянно принимать близко к сердцу общественные интересы. Это тип на Руси вполне определенный и сохранившийся еще до сих пор: из него выходят порицатели общественной неправды и пороков, ходоки, заступники и вообще радетели о мире, личная жизнь которых неразрывно соединяется с мирскою, которые немыс-

лимы без мира так же, как растение без земли и птица без воздуха. У него и обличье было чисто русское: схожие лица встречаются и среди помещиков, и у крестьян северных губерний; только такого прекрасного выражения глаз не скоро найдешь. По первому внешнему впечатлению он легко мог показаться нелюдимым, но чем больше вы его узнавали и ближе к нему присматривались, тем для вас становилось очевиднее, что в нем сильно развито общественное чувство, что он именно немислим без мира, что его даже нельзя представить себе в одиночку; прежде всего без кружка близких людей одинаковых с ним убеждений, затем без известного круга читателей, который он постоянно имел в виду, и, наконец, без забот об общественном благе в самом широком значении этого слова.

Заботы об общественных интересах достаточно видны из его произведений, из которых каждое имело общественное значение; но немногим, конечно, известно, насколько в непосредственных литературных отношениях Салтыков был заботливым, верным и прекрасным товарищем, насколько мало стремился он преобладать, властвовать и подчинять себе людей и насколько сам умел подчиняться, насколько заботился о единодушии и общем тоне работ, насколько расположение его к людям, с которыми свела его судьба, было прочно и насколько он дорожил ими и ценил их. В этом последнем отношении он даже несколько перебарщивал, как зачастую перебарщивают (что, впрочем, совершенно естественно) все общественники, артельщики и даже люди политических партий, считающие дороже и выше всего свою общину, свой монастырь, свою ближайшую среду и относящиеся к остальному миру если не с предубеждением раскольников, то во всяком случае как к чужому: это вот свои, а то — чужие; это наш, а то — чужанин. Наш может быть и с некоторым изъянцем, да молодец и человек верный, а тот — кто его знает, что такое, может быть, и нечто хорошее, а может быть, и плохое.

Как умного человека это не приводило его к крайности, к заключению, что только и света в окошке, что у нас; напротив, он часто порицал свое, отлично знал его слабые стороны и всегда стремился привлечь к журналу всё новое, мало-мальски даровитое и честное, признавал порядочность и заслуги других как на литературном, так и на иных поприщах, извинял и там ошибки и слабости, лишь бы только не было неискренности, лжи, ренегатства и вилянья хвостом ради каких-либо низменных целей и выгод; но отношение к своему все-таки было несомненно предпочтительным перед посторонним. За своих он всегда готов был постоять, а сознание, что и со своими

можно постоять за общие убеждения, доставляло ему большое удовольствие. К посторонним людям он вообще относился как-то искоса, если можно так выразиться: не любил, например, когда посетители, приходя в редакцию, долго засиживались и разговаривали. Вообще, сторонних он не жаловал и, наоборот, очень любил, чтобы сотрудники «Отечественных записок» всегда приходили, и чем больше собирался кружок, тем он становился довольнее и одушевленнее. Как только кого-нибудь недоставало, так сейчас же начинались вопросы: почему не пришел, здоров ли и т. д., а когда замечал, что человек как будто уклоняется от посещений, то всегда узнавал: не рассердился ли он и не обиделся ли на что-нибудь. Я как сейчас слышу его слова: «Отчего вы прошлый раз не были? Что же это мы все врозь будем писать... право, раз в неделю нетрудно ходить». А если бы кто-нибудь из постоянных сотрудников, участвовавших в чтении рукописей и в текущих отделах, вздумал в редакцию не ходить, то тут, наверное, была бы целая история, и Салтыков и сам замучился бы, и его замучил бы вопросами, записками, объяснениями, а в конце концов, вероятно, поссорился бы. Его беспокоило уже то, когда кто-нибудь из сотрудников переезжал жить из Петербурга куда-нибудь в провинцию, даже в какое-нибудь из ближайших петербургских предместий вроде Лесного. По его мнению, настоящий писатель должен жить в Петербурге, потому что, живя в провинции, нельзя принимать так близко к сердцу происходящих явлений.

— Это, — говорил он, — уж я по себе знаю; да и по другим тоже: вот X. живет в деревне — много он пишет? А Z. как переехал в деревню, так черт знает что стал писать.

Ему просто было необходимо, чтобы все собирались, говорили, советовались, чтобы он видел, что журнал есть общее и близкое всем дело. В отрывках из его писем к Н. К. Михайловскому, напечатанных в «Русской мысли», приведено немало фактов глубокой его привязанности к журналу и заботы о сотрудниках; обо всех он думает, неудачников жалеет, говорит о важности работы согласно общему тону и своему месту, а по поводу неодобренного им полемического фельетона одного из сотрудников высказывает, что «подобные шаги должны быть решаемы сообща, чтобы можно было и впоследствии поддержать полемику, а не отступить», и т. д.

После его смерти один мало знавший его писатель высказался, что он будто бы имел привычку обо всех заглазно дурно отзываться. Это неправда. Он действительно имел привычку на многих ворчать (в том числе и на себя) по поводам иногда самым незначительным, но и в глаза, и за глаза всегда высказывал одно и то же, хотя, может

быть, и не в одинаковых выражениях, причем сплошь и рядом в глаза высказывался гораздо резче, потому что терял самообладание. Мне приходилось слышать его воркотню чуть ли не обо всех и каждом из сотрудников, но я положительно не помню случая, когда дело касалось бы чьей-нибудь чести и доброго имени.

Вы сейчас же чувствовали, что это вовсе не злословие, а скорее доброжелательство и забота об общем литературном интересе, что это только слишком строгая точка зрения и нервное отношение к тому, что он именно любит и считает своим. Дурно отзывался он только о тех, кто этого заслуживал, но в большинстве случаев он уже не мог спокойно видеть и говорить с такими людьми или только с великим трудом выносил их. В воркотне же его против своих я никогда не мог усмотреть обиды: то он начнет по поводу неаккуратности и небрежности работ уверять, что «у нас всё пишут загадочные, поэтические натуры», то про сотрудника, путающего свои денежные расчеты, начнет говорить: «это у нас министр финансов», и т. д.

Зато редко, бывало, кто так скоро заметит, как он, когда кто-нибудь в редакционные дни был скучен или просто не в своей тарелке. По большей части прямо он об этом не спросит, точно стыдится показаться экспансивным или боится не деликатности вмешательства, а кого-нибудь другого непременно спросит: «Скажите, пожалуйста, что это N. такой скучный, — болен он, что ли? А как дела его?» Вообще, войти в положение человека, понять это положение и отнестись к нему сочувственно было для него определено какой-то потребностью. Иногда думаешь, что он останется безучастным, а он тут-то именно и распахнет свою душу. Иногда думаешь, что он рассердился, а он тут-то именно и покажет себя настоящим человеком. А какое искреннее удовольствие доставляла ему каждая написанная кем-нибудь хорошая работа: какие восторженные отзывы делал он, например, об «Устоях» Златовратского, которые ему очень нравились, о «Власти земли» Успенского, несмотря на то, что с некоторыми конечными его заключениями был не согласен. Он положительно становился даже как-то горд в такие минуты — и гордостью чисто общественной: «Дескать, всё-таки мы впереди», — хотя преобладающим чувством было, конечно, не это, а чисто художественное и идейное удовольствие, какое он получал. Зато как он оставался недоволен, когда кто-нибудь из сотрудников отдавал статью и появлялся в каком-нибудь другом журнале, кроме «Отечественных записок». Это было для него настоящей обидой, особенно если он дорожил сотрудником: «Зачем да почему, если недоволен чем, то отчего не сказать? Как это идти в чужое место, да что про нас скажут? Скажут, что мы

разгоняем людей» и т. д. Случалось это, впрочем, довольно редко, так как все знали, насколько это Салтыкову неприятно.

В «Отечественных записках» было несколько человек провинциальных и иногородних сотрудников, которых мы и в глаза не видали и с которыми вел переписку и сношения он сам. Это были преимущественно беллетристы и этнографы, писавшие не постоянно, а время от времени присылавшие свои рассказы, повести и очерки. И ими тоже Салтыков очень дорожил, что можно видеть из той аккуратности, с какой он извещал их о получении рукописей, когда они пойдут, что в них следует, по его мнению, изменить и т. д., и постоянно старался удержать их в журнале. Помню, как один из этих сотрудников раз огорчил его: он ему только что написал, что прибавляет ему полистную плату (вместо 75—100 рублей), — а тот, до тех пор ничего не говоривший о повышении ее, написал, что желает получать по 130 рублей за лист. Позвал меня Михаил Евграфович к себе и рассказал и о своем неудовольствии, и о невозможности исполнить такое требование.

— Очень это мне неприятно, — говорил он. — Молодой еще человек, у нас же начал писать, мы же с ним возимся, а он как на лавку какую-то смотрит: дескать, сами прибавили, так и еще прибавите. Да мы, наконец, и не можем всем столько платить. В исключительное же положение, право, его ставить нельзя: конечно, он недурно пишет, но так пишут все; тогда придется и другим прибавлять...

Я сказал, что и на меня этот случай производит также неприятное впечатление и что я вообще привилегированных оплат и положений не люблю.

— Ну, я очень рад, что не один я так смотрю, — сказал Салтыков, прощаясь.

Но каково же было мое удивление, когда в первый же редакционный день я услышал от него:

— А знаете, я написал Х., что согласен на его прибавку: пусть по его будет. Неловко как-то: может быть, у него какие-нибудь расчеты с этим связаны.

Никто не должен был уходить, пока не расходился во взглядах с журналом. Некоторые из этих сотрудников были людьми не особенно даровитыми, и Салтыков возился с ними, исправлял их рукописи, «подкрашивал», но никогда не отказывал, точно по пословице: «Чем дитя несчастнее, тем матери милее». Не менее интересно также его отношение к писателям слабеющим. Это один из драматических моментов в писательской жизни: вследствие возраста или каких-либо других внутренних причин, иногда только временных, человек вдруг

начинает утрачивать интерес, живость мысли и впечатлительности, начинает писать мало или вяло и шаблонно, точно лапти плести. Это состояние характеризуется выражениями: «стал исписываться», «стал слабеть», «не может идти в уровень с жизнью» и т. п.; но определения эти сплошь и рядом бывают ошибочны: человек иногда несколько не стареет и не слабеет, а просто устает работать или переживает какой-нибудь временный душевный упадок. Но как бы там ни было, а сотрудники более живые и энергичные выдвигаются в это время вперед, начинают больше работать, разбирать лучшие темы и вообще действовать, а тот понемногу отстает и переходит в задние ряды. На моей памяти были такие примеры, и Салтыков сейчас же это заметит, ободрит человека, придумает или попросит других приискать ему работу, так что тот иной раз и не подозревает, кто о нем думает, и, смотришь, человек опять входит в колею и начинает работать несколько не хуже прежнего да и не хуже других.

Я не могу сказать, чтобы я пользовался каким-нибудь особенным расположением Михаила Евграфовича, я был простым рядовым сотрудником и потому-то с тем большим основанием могу утверждать, что отношения эти были больше, чем обыкновенными деловыми хорошими отношениями, что это были именно отношения мирские, когда вы чувствовали, что составляете часть чего-то целого, на что можете опираться, и сознавали, что вас не вышвырнут в один прекрасный день, как из машины негодный винт, на улицу. Случались, конечно, между Салтыковым и нами, сотрудниками, недоразумения и пререкания, но все это обыкновенно очень скоро кончалось, и если ему принадлежало, так сказать, начало взаимного недовольствия, то в большинстве случаев ему же принадлежало и окончание его: он объяснялся при первом же случае или даже нарочно ехал к обижаемому и говорил, что «так и жить нельзя, если ничего сказать нельзя», и совершенно забывал о своем недовольстве, забывал действительно без остатка, так что недоразумения эти были чисто домашними и никаких последствий не имели. Вообще, нужно правду сказать, мы тяготились слушать его воркотню, обижались за его порою резкое слово, за которым не было дурного чувства и которое только выражалось в резкой форме, не принимали в соображение его нервности, болезненности и огромных трудов, которые на нем лежали. Положим, что он сам их на себя накладывал, но мы все-таки гораздо меньше его работали и гораздо больше жили другой жизнью. Мы стеснялись ходить к нему, а вследствие этого он часто чувствовал себя одиноким, и это его ужасно обижало и причиняло ему нравственную боль. «Я один, все меня забыли, никто ко мне

не ходит, или ходят только по делу», — вот его постоянные жалобы в последние годы. А жить один он нисколько не мог; он не только не любил единолично решать разные общие вопросы, но ему просто необходимо было с кем-нибудь предварительно поговорить и посоветоваться: «Если вам не о чем советовать, если вы все так счастливо решаете, то мне нужен совет». Прежде он всегда и больше всего советовался с Г. З. Елисеевым. Кажется, достаточно было и одного такого опытного и дальновидного советчика, но он в то же время советовался также и с Н. К. Михайловским, заступившим место Некрасова; но и этим не довольствовался, а советовался и с другими. Обычная его фраза: «Как вы думаете, а?» — всем, вероятно, памятна. Когда Елисеев заболел в 1881 году и должен был надолго отправиться за границу, а Михайловский выехал из Петербурга, то положение его стало особенно трудным. В последние два года перед закрытием «Отечественных записок» чаще других ходили к нему я, А. Н. Плещеев (бывший секретарем редакции) и А. М. Скабичевский, и все-таки он постоянно жаловался: «Вы знаете, что я никуда почти не могу сам ездить, потому что болен; поэтому надо ко мне чаще ходить. Разве я виноват, что болен?.. А у меня между тем никто не бывает». Ему нужны были не просто знакомые, которых у него было достаточно, а именно литературные, и из литературных — свои люди, причастные к журналу. Если литература была для него дорогой областью, то они в ней были наиболее дорогими людьми, около которых постоянно вращалась его мысль. Это я говорю на основании многих фактов.

— Что это мы с вами встретились, точно чужие, — сказал он раз, после того как мы несколько лет не виделись и как сам же он, вместо того чтобы как следует поздороваться, стал сначала выговаривать мне за то, что я ему не писал.

Не чужими, а своими были ему все, кто работал в «Отечественных записках».

Иногда сущие недоразумения и неумение самого Салтыкова выразить то, что он хотел, были причиной, что к нему некоторые неохотно шли. Помню, например, такой случай. Говорю я одному из сотрудников, про которого он часто вспоминал, почему тот не зайдет к нему, а тот мне отвечает:

— Как я к нему пойду... Представьте, прихожу в последний раз. «Ну, здравствуйте, садитесь», — говорит, как вдруг в это время кто-то позвонил, а он и говорит: «А вот и еще черт кого-то принес».

Я глубоко убежден, что Салтыков не хотел этого сказать, что сорвавшаяся у него фраза не только не имела отношения к собеседнику,

но даже и к тому, кто вновь пришел, а просто выражала досаду, что помешают поговорить с человеком, которого он хотел видеть; между тем фраза вышла такой неудачной, что стала источником обиды. Помню еще такой случай. Однажды я пришел к нему как раз после многолюдной компании знакомых (не литературных), которая только что ушла от него, и услышал от него следующее:

— Боюсь, как бы эти господа на меня не обиделись... Представьте: то не едут, не едут целые месяцы, а тут вдруг все сразу пожаловали, сидят и разговаривают между собою, хохочут, а я слушаю. Ну, вот я и сказал им это, а они вдруг взяли шапки да уехали. Право же, я не хотел им ничего обидного сказать, а просто хотел только выразить, что гораздо лучше они сделали бы, если бы не сразу приезжали, что мне приятнее было бы видеть их порознь и чаще, самому говорить с ними, чем слушать их разговоры между собою.

Припомню еще несколько фактов, характеризующих его со стороны, о которой я говорю: со стороны склонности жить и действовать миром. Он это исповедовал не только лично, но и предъявлял к другим, и предъявлял не только при их жизни, но даже после смерти. Когда умер Некрасов и завещал похоронить себя в Новодевичьем монастыре, то надо было видеть, как Салтыков сердился за это на покойника.

— Вот видите, — говорил он на панихиде, — не захотел со всеми на Волковом кладбище быть, а выделиться захотел. Я, дескать, такая величина, что не хочу со всеми лежать. А не все ли равно где лежать; между тем для общества это значение имеет. Он вот и при жизни такой же был: все один, все в особинку да втихомолку.

И несколько раз Салтыков повторял на разные лады то же самое. Видимо, это его очень огорчало, и он никак не мог взять в толк, как это «такой умный человек и мог сделать такое распоряжение». Потом он стал даже иронизировать над Некрасовым...

Словом, и после смерти нужно быть со своими.

Еще факт: пришел я к нему незадолго перед смертью и застал его в самом тяжелом состоянии: сидел он в кресле перед письменным столом, закрыв глаза, ничего не говорил и тяжело дышал. На измученном лице лежали следы страданий жизни, уступающей смерти. Смотреть и то было тяжело. Поздоровавшись, я посидел минут пять и спросил: не обременяю ли его своим приходом?

— Нет, — сказал он, — пожалуйста, посидите и расскажите что-нибудь, а мне трудно говорить.

Что же, думаю, рассказать ему? Ничего для него нет интереснее литературы, а потому стал рассказывать об устраивающемся литера-

турном вечере, в котором принимает участие и Н. К. Михайловский. Как только я произнес его имя, Салтыков вдруг открыл глаза и сердито сказал:

— И зачем он с ними связывается?.. Там и писателей-то, кроме него, нет.

— Как нет? — сказал я и назвал несколько старых, известных фамилий.

— Какие же это писатели, это просто... (тут было сказано обычное крепкое словечко).

Свои не должны были смешиваться с кем попало.

В печати «без направления» и направления зазорного несколько раз говорилось, что будто бы у Салтыкова не было определенного миросозерцания, что он не был человеком партии и будто бы бил иногда «своих». Уже в самом соединении этих определений есть противоречия: если он не был партийным человеком и не имел определенного мировоззрения, то как могли быть у него «свои», и, наоборот, если у него были «свои», то, значит, он принадлежал к известной группе (велика она была или мала — это все равно) и имел сложившееся мировоззрение. Миросозерцание Салтыкова было очень широким и в то же время очень определенным. Юность его приходится на сороковые годы, когда в русской литературе образовалось два течения — западническое и славянофильское. Он воспитывался на статьях Белинского и, будучи по природе русским и оставаясь им до самой смерти, примкнул навсегда к западникам, т. е. стал желать для отечества того, что на западе было жизнью выработано замечательного. Примкнул он, однако, не к большинству западников, занимавшемуся популяризацией немецкой философии, а к небольшому кружку, прилепившемуся к Франции — к Франции не Гизо и Луи-Филиппа, а к Франции Фурье, Сен-Симона, Луи-Блана и Жорж Санд. «Оттуда, — говорил он, — лилась на нас вера в человечество, шло все доброе, любвеобильное и желанное, оттуда воссияла нам уверенность, что золотой век не назади, а впереди нас» («За рубежом»). Он еще в лицее читал этих авторов и увлекался ими, и когда потом в Вятке собирался писать «об идее права» и биографию Беккарии, когда писал «Краткую историю России» и ставил в заслугу Иоанну Грозному его борьбу с боярством на почве местного управления и учреждение судебных старост и целовальников, «чтобы лишить областных правителей возможности грабить народ», когда, участвуя в служебных командировках, ревизиях и комиссиях, высказывался даже в официальных бумагах за свободу личности, экономическое благосостояние народа, вред полицейского всевла-

ствия и бюрократической централизации и стоял за необходимость общественного контроля и местного самоуправления, то во всем этом уже сказывались социально-политические идеи этих писателей, не просто на веру взятые, а продуманные и согласованные с русской действительностью. Идеи эти как нельзя более гармонизировали с его чисто русскими общинными склонностями. Он и в последние годы, будучи уже стариком, много раз вспоминал в разговоре об этих писателях, хотя с практической стороной учения Фурье (например, с устройством фаланстеров и т. п.) далеко не был согласен. Признавая и высоко ценя общие положения, всю практическую часть он ставил в зависимость от времени, развития и желания людей и скептически относился к возможности раз навсегда придумать формы жизни. Как русский народ, выработав общинный порядок и храня его как главную основу своего быта, остановился на известном расстоянии от перехода в коммунизм и от поглощения общиной личности, так и он — и инстинктивно, и путем высшего процесса мысли — также остановился на известном расстоянии от категорических форм, которые могли бы быть придуманы на вечные времена, остановился во имя той же свободы личности, предоставляя ей самой устраиваться в частностях. «Истина, несомненно, здесь, в этой стороне, — говорил он, — но можно ли назвать формы жизни, придуманные хотя бы и великими людьми, окончательными? Прекрасные, справедливые и удобные для данной эпохи, не превратятся ли они в прокрустово ложе для будущего?» <...>

Чем обстоятельства, в каких приходилось действовать Салтыкову, были труднее, тем, само собою разумеется, приходилось дольше стоять на общих положениях, тратить больше сил и времени на подготовительную работу, «на корчевку старых пней», как он выразился однажды в разговоре с одним из сотрудников, и отодвигать положительный идеал дальше; но, тем не менее, он никогда не упускал его из виду, и все его отрицание клонилось к осуществлению и уяснению этого идеала, к водворению в жизнь общих положений, которые самым тесным образом с ним соединялись и входили в него.

Когда говорят, что Салтыков будто бы не щадил «своих» и бранил и смеялся над всеми одинаково, то для этого нужно представлять доказательства, которых обыкновенно не представляют, потому что их трудно найти, но если бы что-либо подобное и было найдено в его сочинениях, то это еще ничего не доказывало бы, потому что и «свои» могут ошибаться и заблуждаться и заслуживать порицания, а еще чаще чужие могут взять ваши идеи, особенно наиболее слабые, и компрометировать их неудачным применением или прямо

искажать и предавать поруганию одним своим прикосновением. Человек с меньшим умом и практической выдержкой мог бы очень много написать про «своих» и про молодое поколение, тесно с ними соприкасавшееся. Много было смешного, ошибочного, претенциозного и лично оскорблявшего Салтыкова, но он никогда не терял самообладания. Сколько смешного рассказывал он, например, про одну фельдшерицу, отправившуюся по земскому приглашению на борьбу с сифилисом; но, зная, что этот факт частный, и боясь, что им могут воспользоваться противники женского образования, — и не подумал смеяться над ним печатно. Сколько неприятных писем и объяснений ему приходилось иметь с молодежью, но, зная, что перед ним не всё молодое поколение, а только наиболее нетерпеливые единицы, — ни строки дурной не написал о молодом поколении и сохранил к нему любовь и веру. Надо было знать, насколько непосредственно могли раздражать его некоторые факты и положения. Одно время (в середине 70-х годов) положение Салтыкова было просто нестерпимым: с одной стороны, им постоянно были недовольны так называемые «сферы» и цензура, а с другой — его бранили молодежь и публика за то, что он недостаточно последователен, не то пишет и не то делает, что нужно, и т. д. Это уже потом ему стали посылаться многочисленные адреса, а вначале читатель к нему был очень строг, порою просто даже немилосерден. Так, например, его постоянно звали читать в пользу чего-нибудь, участвовать в литературных вечерах; он отказывался, его бранили, не желая знать никаких извинительных причин и объясняя отказ исключительно нежеланием и его неотзывчивостью к добру. Между тем он часто не мог читать просто по болезни, не говоря уже о том, что для него появляться на эстраде и читать публично было чистую мукою.

— Вот вы посидите да послушайте, как я кашляю, — говорил он иногда приглашающим, — тогда и увидите, могу ли я читать.

Кашель Салтыкова действительно продолжался иногда минут 5–10 подряд и не давал ему слова сказать. Но отвечать так и представлять такие аргументы можно было только в спокойном, хорошем настроении, а в другое время можно было говорить просто «не могу, не пойду», а так как говорил он это по обыкновению сердитым тоном, то это также ставилось ему в вину. Затем Салтыкова считали чуть ли не миллионером и постоянно осаждали просьбами о пожертвованиях на разные благотворительные цели. Он давал сколько мог, а иногда и отказывал, и опять его бранили, как за отказ, так и за то, что неохотно де раскошеливается и ворчит сначала при этом. Состояние Салтыкова было очень невелико и поправилось только

за последние годы, когда возросла подписка на «Отечественные записки» и когда стали расходиться его сочинения отдельными изданиями. Служил он по необходимости, работал в литературе также далеко не по одной только охоте. В «Отечественных записках» он получал сначала не особенно много для семейного человека его круга, живущего в Петербурге; а в «Современнике», дела которого в то время были не очень блестящи, он имел только 150 рублей в месяц и сам говорил мне, что должен был как вол работать и перебиваться рецензиями. Это и заставило его искать опять места и вторично поступить на службу, до последней отставки. О семье своей он действительно думал, желая оставить ее обеспеченной, но в личной своей жизни, повторяю, отличался большой скромностью: даже больной, он не имел отдельной прислуги; кабинет его, где он главным образом и жил, отличался замечательной простотой, и т. д. Опасаясь «полуголодной старости», он работал до самой смерти и имел полное право написать слова, которые мы приводили уже выше: «Могу смело сказать, что до последних минут вся моя жизнь прошла в труде, и только когда мне становилось уж очень тяжело, я бросал перо и впадал в мучительное забытьё». <...>

